

обстановки и роскоши нарядов, добавляла: «все это заставляло меня думать, что я нахожусь в стране фей, и в моих мыслях, в течение целого вечера был «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Какие поэтические думы возбуждало это зрелище»!

Перед правительницею, сидевшею в больших раззолоченных креслах, поставленных на особом возвышении, происходили оживленные танцы. Музыка, под управлением итальянца-капельмейстера, играла то гавот, то менуэт; дамы и кавалеры любезничали и смеялись, а между тем правительница, подзвав к себе президента академии наук, Бреверна, разговаривала с ним о своем недавнем посещении в академии библиотеки, кунсткамеры и кабинетов с монетами и другими редкими вещами. Она объявила президенту, что пришлет в подарок в кунсткамеру привезенный ей в дар из Персии от Шах-Надира дорогой, украшенный алмазами и жемчугами пояс жены Великого Могола. Она расспрашивала Бреверна об ученых занятиях академиков и просила выписать ей из заграницы новые французские и немецкие книги, так как весь имеющийся у нее запас для чтения должен был скоро истощиться.

Правительница не дождалась конца бала и удалилась из залы с той же торжественностью, с какою туда вступила. Танцы продолжались и после ее ухода и заключились шумным гротеском, после которого гостям, в добавок к обильному бальному угощению, был предложен еще роскошный ужин.

XXXVIII.

Зима замедляла действия наших войск против шведов. Русские оставались на занятых ими позициях, а правительница не думала делать никаких уступок стокгольмскому кабинету, и в Зимнем дворце происходили ежедневно совещания о дальнейших военных предприятиях. 23-го ноября был отдан гвардейским полкам приказ о выступлении в двадцать четыре часа из Петербурга, так как пронесся слух, что шведский главнокомандующий Левенгаупт направляется на Выборг. Распоряжение это сильно взволновало гвардию и произвело большой переполох среди сторонников цесаревны. Они распустили молву, что правительница без всякой надобности удаляет из столицы гвардейские полки, расположенные к Елизавете Петровне, для того только, чтобы, пользуясь их отсутствием, провозгласить себя самодержавною императрицею. Приверженцы цесаревны приступили теперь к ней с решительными предложениями, но она колебалась и, на внушения маркиза Шетарди произвести немедленно переворот военного силою, отвечала, что не может решиться на это из опасения, чтобы «римские истории обновлены не были», т. е. она опасалась, что войско станет взводить и низлагать государей подобно тому, как то делали в Риме преторианцы.

Кроме того, приверженцы Елизаветы старались возбудить народ против существующего правительства; они повсюду толковали будто император Иоанн не был крещен, что он родился от отца некрещеного в православную веру, что мать его держится в тайне лютерской ереси; что немцы забирают все

в свои руки, что скоро приедет опять в Петербург любимец правительницы, граф Линар, и станет делать все, что захочет, и что тогда народу будет еще хуже, чем было при Бироне. Сопоставление этих двух имен порождало сильную ненависть к Линару. Чтобы подействовать на людей суеверных, враги правительницы распускали молву, будто над гробом императрицы Анны Ивановны являются по ночам привидения и между ними Петр Великий, требующий от покойной государыни корону для своей дочери. Пытались для усиления замешательства пустить в народ говор, что императора умер и что умышленно скрывают от народа его кончину. Поднялись толки о том, что малютке-императору предстоит самая плачевная судьба. Рассказывали, что при рождении принца тетка его приказала знаменитому математику Эйлеру составить гороскоп новорожденного. Ученый, посмотрев с обсерватории в трубу на твердь небесную, принялся за вычисления и выкладки и — ужаснулся: светила небесные предсказывали страшный жребий царственному младенцу! Тогда Эйлер, боясь огорчить императрицу и посоветовавшись с своими товарищами, заменил настоящий гороскоп подложным, в котором предрек новорожденному: долголетие Мафусаила, мудрость Соломона, богатства Креза, славу Александра Македонского и вообще предсказал ему такую счастливую жизнь, какая не доставалась еще на долю никому из смертных. В добавок ко всем слухам, агенты Шетарди пугали петербургское население молвою о приближении к столице шведов, прибавляя, что если бы не было правительницы и ее сына, то не было бы и войны, так тяжело отзывающейся на всем народе.

Со своей стороны безпечная Анна Леопольдовна не принимала никаких мер для прекращения враждебных ей слухов.

Она вела обычную жизнь: читала, беседовала с Юлианою, переписывалась с Линаром, а по вечерам проводила время в небольшом обществе близких ей лиц, и только по понедельникам бывали у нее более многолюдные вечерние собрания.

Перед одним из таких собраний, происходившему 28-го ноября, она получила из Бреславля письмо, в котором внушали ей быть сколь возможно осторожнее с Елизаветою и советовали немедленно арестовать состоящего при цесаревне хирурга как главного вожака той партии, которая намеревается свергнуть и ее — правительницу — и ее сына. В этот вечер ранее всех гостей приехал в Зимний дворец маркиз Ботта, Он просил Юлиану доложить ее высочеству, что ему тотчас же, до приема других гостей, нужно видеть правительницу. Настоятельное требование маркиза было немедленно удовлетворено и он, разяснив Анне Леопольдовне настоящее положение дел, заключил свой разговор с нею следующими словами: «Вы находитесь на краю пропасти; позаботьтесь о себе, спасите, ради Бога, и себя, и императора, и вашего супруга! Эти два одновременные предостережения, письменное и словесное, подействовали, наконец, на правительницу, и она решилась объясниться откровенно с Елизаветою. В обычный час съеха-

лись к правительнице гости: одни беседовали между собою, другие сели за карты, но сама она, против обыкновенья, не играла в этот вечер. Она, в сильном волнении, ходила взад и вперед по комнате, останавливаясь несколько раз у того стола, за которым играла цесаревна, и заметно было, что она хотела сказать ей что-то, но только никак не могла решиться. Наконец, преодолев себя, она слегка дотронулась до плеча Елизаветы. Цесаревна вздрогнула, а правительница сделала глазами знак, что желает переговорить с нею наедине.

Хозяйка и гостья пошли в отдаленную от гостиной комнату и там Анна Леопольдовна начала свои объяснения с Елизаветою, предъявив ей прежде всего полученное утром из Бреслава письмо.

— Я ни в чем не виновата!., проговорила смущенная этою неожиданностью Елизавета:— я никогда и в мыслях не имела предпринимать что-нибудь против вас и против его величества... Я слишком чту данную мною вам и императору присягу, чтобы я посмела когда-нибудь нарушить ее. Письмо это подослано к вам моими врагами, они же сообщают вам ложные на мой счет известия, который только напрасно тревожат спокойствие и ваше, и мое; на все это решаются злые люди для того, чтобы сделать меня несчастною...

— Но ведь маркиз де-Шетарди бывает у вас, а мне очень хорошо известно, что он только и старается о том, чтобы возбудить раздоры и беспорядки, и тем самым отвлечь внимание России от европейской политики; я, впрочем, очень мало понимаю в политике и говорю это не прямо от себя, передаю вам только то, что говорят знающие люди, не доверять которым я не имею никакого повода...

— Мало ли что говорят,— запальчиво перебила Елизавета,— говорят, например...

— Но ведь маркиз де-Шетарди бывает у вас, с большею против прежнего настойчивостью повторила правительница.

— Да, бывает, отрывисто ответила Елизавета.

—Я хочу, чтобы он прекратил эти посещения, требовательным тоном проговорила правительница.

— А я не в состоянии исполнить волю вашего высочества. Я могу отказать маркизу под каким-нибудь выдуманым пред-

логом один раз, много два раза, а потом, когда он приедет ко мне в третий раз, я должна буду принять его, против моего желания. Отчего вы не действуете проще: вы—правительница и имеете власть: так прикажите Остерману, чтобы он с своей стороны, передал маркизу о вашем ему запрещении ездить ко мне...

— Я попросила бы вас не учить меня, — сказала правительница таким грозным тоном, который изумил Елизавету. Цесаревна смешалась. — Я немедленно прикажу арестовать Лестока, — продолжала Анна Леопольдовна: — он часто бывает у маркиза.

— Клянусь вам всемогущим Богом, клянусь вам всем святым, клянусь памятью моего отца и моей матери, что это неправда; нога Лестока не бывала ни разу у Шетарди, вскрикнула Елизавета, показывая на образ и заливаясь слезами.

— Не надо мне таких страшных клятв!.. Не надо!.. проговорила изумленная правительница. — Я верю и без них...

Набожная и богобоязненная Елизавета смело клялась теперь, так как действительно Лесток ни разу не бывал у Шетарди, а видался с ним всякий раз в уединенной роще, бывшей тогда в окрестностях Смольного двора. Прибегая к такой уловке, Елизавета думала, что тут нет никакого клятвопреступления, а между тем таким смелым оборотом разговора она прикрывала все подозрения, высказанные против нее правительницею.

Страшная клятва, так твердо произнесенная цесаревною, ее слезы и рыдания до такой степени сильно подействовали на Анну Леопольдовну, что она кинулась на шею Елизавете и начала просить ее, чтобы она простила ее за напрасные подозрения. При этом правительница ссылалась на то, что она была

введена в ошибку, в которой теперь чистосердечно раскаивается.

Елизавета воспользовалась переходом молодой женщины от твердости к слабости и, в свою очередь, начала выговаривать ей, жалуясь на те обиды и оскорбления, какие ей приходится постоянно переносить без всякого с ее стороны повода. Цесаревна до такой степени успела убедить правительницу в своей невинности, что Анна расстроеным голосом сказала ей:

— Теперь я вижу, что нас ссорят злые люди: вы слишком набожны и настолько чтите и боитесь Бога, что не измените вашей присяге и никогда не призовете напрасно Его святое имя. Впрочем, — добавила она с неуместною откровенностью, — скоро все устроится так, что у наших недоброжелателей не будет более поводов к интригам и проискам.

От этих слов у цесаревны захватило дух, но она выдержала себя и, не говоря ничего более, возвратилась в гостиную и села продолжать игру, а правительница, совершенно расстроенная объяснением с цесаревною, не знала как дотянуть тягостный для нее вечер.

На другой день, т. е. 24-го ноября, в день св. великомученицы Екатерины, правительница ездила к обедне в Александро-Невскую лавру, где была погребена ее мать — царевна и герцогиня Меклембургская, Екатерина Ивановна, и так как в этот день были именины покойной, то правительница отслужила панихиду над ее могилою. Едва успела она возвратиться во дворец, как к ней явился ее супруг. Его растерянный и испуганный вид предвещал что-то недоброе и, действительно, он объявил правительнице, что по дошедшим до него сведениям, не остается никакого сомнения, что ей, ему и всему их семейству угрожает страшная опасность.

— Непременно нужно, — говорил он, заикаясь второпях еще более, чем всегда, — непременно нужно сейчас же арестовать Лестока, не упускать из виду цесаревны, наблюдать за маркизом и расставить около дворца и по всему городу караулы и пикеты...

— Вы, ваше высочество, — с раздражением заметила правительница — опять с вашими предостережениями, но они мне ужасно надоели. Я вчера поверила подобными внушениям и потом чрезвычайно сожалела, когда убедилась в тех клеветах, какие взводят на Лизу. Неужели же такая чистосердечная и набожная девушка, как она, может так страшно клясться и так искусно притворяться?.. Вчера я довольно настрадалась за мое легкоеверие. Будет с меня и этого, я вам скажу только одно: вы слишком мнительны и чрезвычайно трусливы...

Принц тяжело вздохнул, пожал, по привычке, плечами и с опущенною вниз головою вышел молча от своей супруги.

В этот же день вице-канцлер граф Головкин давал торжественный бал по случаю именин своей жены Екатерины Ивановны, рожденной княжны Ромодановской. Весь большой петербургский свет был у него в гостях, но правительница, под предлогом поминовения своей матери, отказалась от приглашения графини Головкиной и, чтобы не отвлекать от нее гостей, отменила даже обычное у себя собрание. Весь этот вечер она провела за письмом к Линару, описывая ему, между прочим, в подробностях те тревоги, которые причиняют ей клеветами на неповинную ни в чем цесаревну. Письмо это предназначалось для отправки на другой день в Кенигсберг, куда вскоре должен был приехать Линар на возвратном пути из Дрездена в Петербурга.

Успокоенная на счет Елизаветы и в ожидании скорой

встречи с Линаром, правительница была в этот вечер веселее обыкновенного; она заговорила с Юлианой до поздней поры и попросила ее переночевать в ее спальне. Болтая о том и о сем, молодые подруги заснули около полуночи крепким сном. Во дворце и кругом его было все тихо и только по временам раздавались обычные протяжные оклики часовых, бодрствовавших на страже, несмотря на жестокий мороз.

В то время, когда правительница и Юлиана ложились спать, кругом дворца быстро обежал какой-то человек, закутанный в шубу, с нахлобученною на глаза шапкою, что, однако, несколько не мешало ему зорко осматриваться во все стороны. Обежав кругом дворца и убедившись, что никаких особых предосторожностей не принято, он быстро повернул в Большую Миллионную и вошел в бильярдную, которую содержал в этой улице савояр Берлен. Там поджидал неизвестного господина секретарь французского посольства Вальденкур, который, пошептавшись немного с вошедшим в бильярдную посетителем, вручил ему несколько свертков червонцев.

— Желаю вам, господин Лесток, полного успеха, — проговорил тихо секретарь.

— Я в этом вполне уверен... Впрочем, если бы я не решился на мое предприятие, то для меня все равно: я должен был бы пропасть, так как завтра буду непременно арестован, — проговорил довольно громко Лесток.

Выбежав проворно из бильярдной с полученными от Вальденкура червонцами, Лесток пустился опроретью к дворцу цесаревны, бывшему не в дальнем расстоянии от бильярдной, на том почти месте, где ныне находятся казармы павловского полка.

Лесток нашел Елизавету в страшном волнении, которое

усилилось еще более, когда он объявил ей, что в настоящую минуту не остается ничего более, как только действовать самым решительным образом, что теперь для этого самая благоприятная пора, что завтра, по выступлении в поход гвардейских полков, будет уже поздно, да и он не в состоянии будет ничего предпринять, потому что утром возьмут его в тайную канцелярию. Цесаревна видимо колебалась, она молча слушала убеждения преданного ей человека, и, чтобы окончательно поколебать нерешительность Елизаветы, Лесток подал ей небольшой клочок папки. На одной стороне этого клочка была нарисована цесаревна в императорской короне, а на другой она была изображена в монашеском одеянии, а кругом ее были колеса, виселицы, плахи, топоры и разные орудия пытки ожидавшие ее приверженцев.

— Ваше императорское высочество, — сказал решительным голосом Лесток, — выберите одно из двух: или сделаться императрицею или отправиться на заточение в монастырь, и видеть при этом, как ваши верные слуги будут гибнуть в казнях и страдать в пытках. Если даже, — заметил Лесток, вы и не успеете теперь в вашем предприятии, то вся разница будет только та, что вы попадете в заточение несколькими месяцами ранее, так как во всяком случае вы не избежите этой участи... Решайтесь же на что-нибудь!

В это время к цесаревне пробрались семь гренадеров преобразенского полка. Они объявили ей, что так как гвардия уходит завтра в поход, то цесаревне необходимо теперь же положиться на войска и порешить с своими врагами. Окружавшие цесаревну, тогда еще неизвестные лица, Алексей Разумовский, Михаил Воронцов и Петр Шувалов, тоже склоняли ее к решительным мерам.

Елизавета упала на колени перед образом Спасителя и долго молилась не только о том, чтобы Господь благословил исполнение ее предприятия, но чтобы Он и отпустил ей ту страшную клятву, которую она только вчера дала правительнице.

Окончив молитву, цесаревна объявила, что она готова на все, и в сопровождении горсти своих приверженцев отправилась добывать корону...

XXXIX.

Под покровом ночи, с 24-го на 25-е ноября 1741 года, совершилось в Петербурге событие, значение которого было непонятно для зрителя, непосвященного в тайну замысла, приводимого в исполнение.

Около 12 часов ночи, к казармам преображенского полка подъехала в санях молодая женщина с четырьмя мужчинами: из них один заменял кучера, двое стояли на запятках, а один сидел рядом с нею. Около саней бежали семь гренадеров. Эти ребята, пробегая мимо казарменных помещений, стучали в двери и в окна, вызывая своих полковых товарищей именем цесаревны. Заспанные солдаты, одевшись наскоро, кое-как, выбегали с заряженными ружьями на улицу и окружали сани, медленно двигавшаяся вдоль преображенских казарм. Вскоре около саней составила толпа человек в 300, и они, вместе с цесаревною, привалили на полковой двор. Здесь, при слабом свете нескольких фонарей и звездного неба, отражаемом белою пе-

леною снега, Елизавета, выйдя из саней и став посреди гренадеров, сказала им:

— Ребята! вы знаете чья я дочь! Идите за мною!..

Так как заговор в пользу цесаревны составлялся давно, и так как и офицеры, и солдаты знали уже в чем дело, то никаких особых объяснений теперь не требовалось. Елизавета села опять в сани, а гренадеры гурьбою побежали за нею. На пути число их уменьшилось, так как по несколько человек, отделяемых от отряда, были отправляемы в разные стороны для арестовывания сановников, считавшихся наиболее преданными правительнице. Со значительно уменьшившимися вследствие этого силами подъехала Елизавета на угол Невской «перспективы» и Адмиралтейской площади, и перед нею выдвинулся в ночном мраке Зимний дворец. Ни одного огонька не светилось уже в его окнах, видно было, что обитатели дворца погрузились в глубокий сон. Наступало решительное мгновение: у Елизаветы замер дух, она чувствовала, что у нее не надолго достанет отваги, возбужденной в ней ее прислужниками.

— Не наделать бы нам шуму санями и лошадьми,— проговорил один гренадер, — вишь, ведь, как визжать полозя, да и лошади-то, чего доброго, как на зло примутся фыркать. Вылезай-ка лучше, матушка, из саней, да пойдем все пешком, — добавил он, обращаясь к Елизавете, за санями которой следовали еще трое других саней, взятых на всякий случай с полкового преображенского двора.

Елизавета повиновалась бессознательно этому распоряжению. Она вмешалась в толпу солдат и направилась с ними пешком к Зимнему дворцу, но тотчас же оказалось, что

небольшие и робкие шаги женщины были вовсе не под меру размашистым и смелым шагам рослых солдат.

— Вишь, как она отстает от нас. Подхватывай ее, ребята, на руки! — крикнул тот же молодец, и цесаревна не успела опомниться, как уже очутилась на руках своих спутников, которые бегом принесли ее к дворцовой караульне.

Сильный, здоровенный храп раздавался там, когда вошла туда Елизавета со своими главными пособниками, весь караул спал вповалку. Очнувшийся прежде всех барабанщик, видя что-то необыкновенное, кинулся было к барабану, но, прежде, чем он успел ударить тревогу, Лесток кинжалом распорол на барабан кожу и сделал то же самое на двух других, бывших в караульне барабанах. Четверо из караульных офицеров попытались было оказать сопротивление, но их притиснули к стене и обезоружили, и, втолкнув в соседний с караульной чулан, заперли там, приставив часовых.

По задней дворцовой лестнице, освещаемой одною только сальною свечкой, захваченной в караульне, поднималась Елизавета, сопровождаемая гренадерами. Состоявшие в разных местах дворца часовые, озадаченные неожиданным появлением цесаревны в глубокую ночь, не знали, что им делать и, молча, сходили со своих постов, которые занимали елизаветинские гренадеры. Между тем часть пришедших с Елизаветой солдат сторожила все дворцовые выходы. Таким образом, без всякой тревоги и шума она пробралась во внутренние покои правительницы. Теперь оставалось ей пройти одну только комнату, отделявшую ее от спальни Анны Леопольдовны. В страшном волнении опустилась в кресла Ели-

завета, чтобы собраться с силами: ноги ее подкашивались, руки дрожали, голос замирал. Осторожным шепотом ободрили ее Лесток и Воронцов. Цесаревна встала с кресла и, медленным шагом, притаив дыхание, начала подходить к спальне правительницы.

С сильным биением сердца и с лихорадочною дрожью во всем теле она прикоснулась к ручке дверного замка, нерешительно нажала ее, и дверь в спальню тихо претворилась. Там, при слабом свете ночной лампы, Елизавета увидела спящую сладким сном на софе Юлиану. Цесаревна остановилась в нерешительности, но Лесток слегка подтолкнул ее и она очутилась в спальне. На цыпочках подкралась она к правительнице и неслышным движением руки распахнула задернутый над постелью шелковый полог.

— Пора вставать, сестрица! *) — проговорила Елизавета насмешливо-ласковым голосом, наклонившись над Анной Леопольдовной.

Правительница вздрогнула и, не понимая что вокруг нее происходит, быстро, в одной сорочке, вскочила в постели.

Горделиво стояла перед нею разодетая в бархат Елизавета, с голубую через плечо лентою и с андреевскою звездою на груди, которые она, как нецарствующая особа, не имела права носить.

Не успела еще Анна Леопольдовна проговорить ни одного слова, как увидела выглядывавшие из-за дверей соседней комнаты суровые лица гренадеров, услышала тяжелый топот и скрип их сапогов, стук об пол ружейных прикладов и бряцанье оружия.

*) Подлинные слова Елизаветы.

— Я пропала!— вскрикнула она, закрыв в отчаянии лицо руками.

От громкого возгласа Анны Леопольдовны проснулась Юлиана и, сидя на софе с свешенными вниз голыми ножками, бессознательно посматривала кругом. Она протирала свои черные глазки, думая, что все это видится ей во сне, а не совершается наяву.

— Умоляю вас, проговорила Анна, задыхаясь и опускаясь на колена перед Елизаветою: — не делать никакого зла Юлиане и пощадить моих детей!..

— Никому никакого зла я не сделаю, равнодушно отвечала Елизавета: — только одевайтесь поскорее, потому, что здесь хозяйка уже я, а не вы... Да и ты, сударушка моя, поторапливайся поживее,— шутливо добавила она, обращаясь к неудомававшей Юлиане.

Гурьба гренадеров ввалила теперь в спальню правительницы и в присутствии этих неожиданных ночных посетителей молодые женщины начали одеваться. Елизавета поторапливала и х.

— Надобно взять принца Ивана и принцессу Екатерину и увезти их, — проговорила она как бы про себя, и затем, обратившись к своим спутникам, приказала никого не выпускать из спальни.

Исполняя последнее приказание цесаревны, по двое гренадеров стали на караул у каждой двери, скрестив штыки, а Елизавета, в сопровождении Лестока, отправилась в те комнаты, где находились император и его сестра, принцесса Екатерина.

Малютка спал в это время беззаботным сном, свернувшись крендельком в своей колыбели. Осторожно вынула его оттуда Елизавета.

— Мне жаль тебя, бедное дитя, — проговорила она, — ты не виноват ни в чем, виноваты только твои родители.

С этими словами она передала спавшего ребенка на руки его мамки, не догадывавшейся вовсе о том, что делается.

Так же осторожно взяла Елизавета из колыбели и крошечку Екатерину, передав ее ее кормилице.

После этого цесаревна отправилась в спальню матери захваченных ею детей. «Иванушка» спал беспробудно, а его сестричка как-то болезненно ворковала спросонья. Между тем в спальню Анны Леопольдовны привели окруженного гренадерами принца Антона. Испуганный и бледный, он только с немым укором посмотрел на свою растерянную жену и бросил сердитый взгляд на Юлиану, которая, как казалось, все еще не сознавала ясно того, что происходило. Цесаревна прикрикнула на нее, приказывая ей не наряжаться как на свадьбу, а выбираться поскорее. По распоряжению Елизаветы, горничные принесли шубки и шапочки для Анны Леопольдовны и ее фрейлины.

— Теперь можно собираться в путь-дорогу! весело проговорила Елизавета, окинув глазами спальню и видя, что уже забраны все, кого ей нужно было забрать.

— Поздравляем тебя, наша матушка, с новосельем, — гаркнул один преображенец, обращаясь к цесаревне.

— Дай, Господи, жить тебе здесь подобру-поздорову! подхватил другой.

— И сто годков процарствовать! добавил третий.

Ласковою улыбкою отвечала Елизавета на эти приветствия своих приверженцев, и видя, что все готовы, сделала Анне Леопольдовне глазами знак, чтобы она выходила из спальни. В это мгновенье бывшая правительница вспомнила о

письме, написанном ею с вечера к Линару, она вздрогнула от негодования при мысли, что Елизавета узнает все ее сердечные тайны, и кинулась к столику, на котором лежало письмо, чтобы взять его.

— Здесь ничего нельзя трогать! строго сказала Елизавета, кладя на письмо одну руку, а другой отстраняя от стола Анну.

— Умоляю вас, отдайте мне его, оно вам не нужно... прошептала молодая женщина,

Не отвечая ничего, Елизавета взяла со стола запечатанное письмо и заложила его за корсаж своего платья.

Окруженная со всех сторон гренадерами, выходила из своей спальни бывшая правительница. Позади ее с поникшею головою шел принц Антон; за ним мамки несли их детей, около которых была Юлиана. Теперь торжествующая Елизавета проходила с своею добычею через ярко освещенные залы дворца, так как хозяйничавшие там солдаты зажгли свечи во всех люстрах и кенкетах. Разбуженная начавшимся во дворце шумом прислуга сбегалась со всех сторон и оторопелая смотрела с изумлением, как вводили солдаты правительницу и ее семейство.

Идя по залам и спускаясь с лестницы, шедшие отдельною кучкою позади своих товарищей гренадеры принялись толковать между собою о случившемся на свой лад.

— Наша-то матушка цесаревна, не бойсь, — сама на своих сопротивных пошла, а не послала других, как великая княгиня послала фельдмаршала против «ригента», заговорил один из них.

— Не так, братец ты мой, рассуждаешь, — перебил другой: — там была особь-статья, женскому полу супротив сво-

их ходить можно, а против мужского, да еще по ночам, никак нельзя. Да и что был за важная птица «ригент»? на нем, почитай, и заправского генеральства не было, а здесь что ни говори — император, хоть и махонький; да и мать-то его царская внучка...

— А все же ненастоящая царица, какой будет теперь наша цесаревна, возразил первый.

— Вестимо, была бы царицею, так кто бы посмел идти против нее?

— Да что, братцы, — начал молчавший пока гренадер: — теперь и войны у нас никакой не было, а вот как мы с год тому назад ходили курляндчика забирать, так совсем иное дело выходило. Орал, окаянный, во всю глотку, а ругань-то какую учинил и нам, и всему начальству. Отбивался—так я вам скажу—словно бешеный: кого в скулу треснет, кого в ухо свиснет, кому в зубы заедет; повозились мы с ним порядком, только прикладами да веревками и уняли. А теперь-то что было? Встала с постельки, да только и проблеяла словно голодная козочка.

— Просила, кажись, о чем-то цесаревну, перебил один из гренадеров.

— Да не о себе—заметил его товарищ, — а о той барышне-красотке, что с нею жила; ведь какая она пригожая! За нее-то она и просила; сразу видать, что должно быть куда какая добрая.

— Да что, и вправду, дурного о ней никогда слышать не приводилось; тихая была; зла никому не делала, — заговорили гренадеры.

— Вишь, муженек-то у ней плох,— начал один из них: — словно одурелая под осень муха. Выйди-ка он к

нам, как следует, молодцом, да прикрикни на нас покомандирски, так того и гляди, что мы, пожалуй, и опеши—ли бы... значит, как есть начальство заговорило бы с нами.

— А что, ребяташки, не взяли ли мы греха на душу, ведь у нас и ей и ее сынку присяга была? — боязливо спросил один гренадер, внимательно прислушивавшийся к толкам своих товарищей.

— Какой нам грех? — бойко крикнул кто-то из них. — Ведь говорят, что и на том свете наши командиры за нас в ответе будут, а мы не причем останемся.

— Так-то так, а все же и ее жалостно, двое деток мал - мала меньше.

— Ну, цесаревна их милостью свою не оставит, и что им на харчи по положению следует, то отпущать им прикажет, — успокоительным голосом заключил какой-то служивый.

XL.

По выходе из дворца правительницу усадили в первые сани, на запятках и на козлах которых поместилось несколько гренадеров-победителей; в другие сани, под такой же надежной охраной, посадили принца, а в третьи низверженного императора и его сестру с их мамками. С веселым шумом и громким гиком тронулся поезд, словно праздничный, за ним в четвертых санях ехала Елизавета с ближайшими из своих сподвижников. Поезд быстро примчался к ее дворцу, находившемуся на том почти ме-

сте, где ныне стоят казармы лейб-гвардии павловского полка. Сюда же привезли одного вслед за другим: Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, у которого только что окончился именинный пир его жены. Всех арестованных разместили во дворце цесаревны, по отдельным комнатам, под самым строгим караулом. Из них Остерман был порядочно избит солдатами, за то, что несмотря на свою болезнь и дряхлость, он оказал им отчаянное сопротивление и, кроме того, в самых резких выражениях отзывался об Елизавете и ее насилии над правительницею.

Пока весь Петербурга крепко спал, не зная ровно ничего о том, что делалось на улицах и в двух дворцах, двенадцать вестовых на оседланных заранее лошадях мчались в казармы гвардейских полков и к начальствующим в столице лицам с известием о случившейся перемене правления. Сперва в городе, среди глубокой ночной тишины, послышался какой-то глухой шум и началось какое-то неопределенное движение. Обитатели и обитательницы Петербурга вскакивали с постелей, подбегали к окнам и, слыша суетню на улицах, думали, что не вспыхнул ли где-нибудь пожар. Действительно, вскоре поднялось над городом большое зарево, но оно происходило не от пожара, а от множества костров, разложенных перед дворцом цесаревны собравшимися теперь около него гвардейскими солдатами, которые, по случаю жестокой стужи, разместились около них. Толпы народа хлынули туда, но все терялись в догадках о том, что могло бы случиться необыкновенного. Бежавшие ко дворцу цесаревны осыпали один другого вопросами, на которые однако никто не мог дать никакого определенного ответа.

До какой степени произошел быстро и неожиданно на-

стоящий переворот, лучше всего можно видеть из «Записок» князя Я. П. Шаховского, проспавшего в качестве главного начальника петербургской полиции переворот, совершенный Минихом, а теперь в звании уже сенатора, не знавшего ровно ничего о вновь совершившейся перемене.

Князь пробыл до полуночи на именинах жены благоволившего к нему вице-канцлера графа Головкина, и вернулся домой «в великом удовольствии и приятном размышлении о своих поведеньях, что он уже сенатор между стариками, в первейших чинах находящимися, обретается и что будучи так много-могущего министра любимец, день ото дня лучшие себе приемности ожидать и при том себя ласкать может на долго счастливым и от всяких злоключений быть безопасным». Только что успел заснуть князь-сенатор в таких приятных мечтах, как необыкновенный стук в ставень его спальни и громкий голос сенатского экзекутора, Дурново, разбудил его. Экзекутор под окошком сенаторской спальни во всю мочь кричал, чтобы его сиятельство как можно скорее ехал во дворец цесаревны, «ибо-де она изволила принять правление и я,—проговорил торопливо экзекутор,—с тем объявлением бегу к прочим сенаторам».

«Вы, благосклонный читатель,— пишет Шаховской,— можете вообразить, в каком смятении дух мой тогда находился! Ни мало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов к примечаниям не имея, я сперва думал: не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и в миг удалился, но вскоре потом увидел многих по улице мимо окон моих бегущих людей необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я поехал, чтобы скорее узнать точность такого происшествия».

Крепко подвыпившие солдаты шумели теперь перед дворцом цесаревны, ни на кого не обращая внимания; народ, не выражавший, впрочем, как это было при падении Бирона, громкой радости, до такой степени запрудил ближайшие ко дворцу улицы, что не было никакой возможности пробраться в экипажах из дворца цесаревны в Зимний дворец, почему и приказано было всем явившимся к цесаревне сановникам идти туда пешком для принесения присяги воцарившейся теперь государыне. Вскоре однако полиция водворила в народе должный порядок; на всем пути, лежащем между двумя дворцами, были расставлены в два ряда войска, и Елизавета, окруженная своими ближайшими сподвижниками, поехала из прежнего своего жилища в Зимний дворец. Солдаты приветствовали ее громкими криками, но толпа, по свидетельству князя Шаховского, оставалась в «учтивом молчании». Всем становилось теперь жаль Анну Леопольдовну, правление которой отличалось кротостью, и все опасались своеволия солдатчины, которое и не замедлило вскоре проявиться. Гвардейцы стали вскоре буйствовать на улицах и позволяли себе обижать кого ни попало и на рынках, и в обывательских домах.

Около четырех часов вечера, пушечные выстрелы, раздавшиеся со стен Петропавловской крепости, известили о переезде ее величества императрицы Елизаветы Петровны в Зимний дворец из прежнего ее дворца, в котором оставались под надежной стражей падшее брауншвейгское семейство и преданные правительнице вельможи.

Не особенно сильно терзалась Анна Леопольдовна о потере ею власти и величия, но она приходила в отчаяние при мысли, что ей, быть может, уже не придется увидеть Линара

и терзалась при мысли, что она будет разлучена с Юлианой. Тревожила ее и участь детей, но о судьбе своего мужа она вовсе не думала, хотя в тоже время и не могла не видеть, до какой степени он был прав, когда так настойчиво предостерегал ее против замыслов Елизаветы. Анне Леопольдовне казалось даже, что теперь наступает для нее та желанная ею, чуждая всяких принуждений и стеснений жизнь, о какой она не переставала мечтать даже и в те минуты, когда, уступая настояниям Линара, готовилась провозгласить себя самодержавною императрицею. Молодая женщина порою даже радовалась тому, что с нее спало тяжелое бремя правления и что теперь не станут ее тревожить ни происки, ни интриги и что жизнь ее, хотя уже и не блестящая, пойдет спокойной колеей. Все желания ее в эту пору ограничивались только желанием скорого свидания с Линаром.

По-видимому такое желание должно было вскоре исполниться. Письмо ее к Линару, захваченное Елизаветою, произвело на государыню впечатление в пользу бывшей правительницы. Из письма правительницы императрица могла убедиться, что Анна Леопольдовна не была непримиримым ее врагом, что молодую женщину не мучила жажда власти, что она отвергала те предложения, которые делались ей для того, чтоб избавиться от цесаревны и принять титул императрицы. Из письма этого, проникнутого от начала до конца откровенностью, Елизавета могла заключить, что Анна, лишившись однажды власти, не будет уже опасною соперницею новой государыне. Под таким впечатлением Елизавета решилась поступить с бывшею правительницею как нельзя более снисходительно. Она просила маркиза

Ботта передать Анне Леопольдовне, что будут приняты все меры для того, чтобы доставить принцессе и ее семейству свободную, спокойную и обеспеченную жизнь. Маркизу Шетарди Елизавета говорила: «отъезд за границу принца и принцессы решен и чтобы им заплатить добром за зло, я прикажу выдать им деньги на путевые издержки и оказывать им почет, подобающий их сану». В то же время в Петербурге толковали, как о деле окончательно решенном, что правительнице и ее супругу будет оставлена вся их подвижность, что им будет назначено ежегодное содержание по 150,000 рублей и что Анна Леопольдовна со всем ее семейством будет отпущена в Германию, для чего и ассигновано уже назначенному сопровождать ее гоф-фурьеру 30,000 рублей. С своей стороны правительница обязывалась подчиниться только следующим требованиям: никогда более не переступать через русскую границу, возвратить, прежде отъезда, все находившиеся у нее коронные бриллианты и драгоценности, оставляя у себя лишь то, что было ей подарено императрицею Анною Ивановною; наконец, она должна была отречься от титулов императорского высочества и великой княгини, называясь по прежнему светлейшей принцессой мекленбургской и принеся императрице присягу на верность за себя и за своего сына. От принца Антона требовалось только, чтобы он сложил с себя звание генералиссимуса русских войск. О низложенном младенце-императоре не было никакого уговора, отрешение его от престола считалось делом поконченным вследствие самого хода событий.

Наконец, обещание императрицы предоставить Анне Леопольдовне свободу и соответственное ее рождению обеспечение было выражено Елизаветою и во «всенародном» мани-

фесте, изданном 28-го ноября. В манифесте этом сказано было: «в рассуждении принцессы Анны и принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойства и особливой природной к ним императорской нашей милости, не хотя причинить им никаких огорчений, с надлежащею их честью и с достойным удовольствием, предав их к нам разные предосудительные поступки крайнему забвению, всех в их отечество всемилостивейше отправить повелели».

Действительно, 12-го декабря 1741 года, все брауншвейгское семейство было отправлено из Петербурга в Ригу. Заведывавшему его отправкою камергеру Василию Федоровичу Салтыкову дана была секретная инструкция в том смысле, чтобы отвести «брауншвейгскую фамилию», «как можно скорее через границу», оставив ее на жительстве в Кенигсберге, куда она, по предварительному расписанию пути, должна была прибыть 28-го декабря. Перед выездом Анны Леопольдовны Елизавета приказала удостоверить ее в своем благоволении и уверить, что она, принцесса, и ее семейство не будут забыты высочайшими милостями. Юлиане и сестре ее Бине разрешено было отправиться в свите бывшей правительницы.

На другой, однако, день после получения Салтыковым этой инструкции, ему был вручен, противоречивший ей «секретнейший» указ, в котором говорилось: «хотя данной вам секретной инструкцией и велено вам в следовании вашем никуда в города не заезжать, однако же, ради некоторых обстоятельств то, через сие отменяется, и вы имеете путь продолжать наивозможно тише и держать растахи на одном месте дня по два».

При приближении к Нарве занемогла маленькая принцесса Екатерина. Мать ее, испуганная болезнью дочери, стала просить капитана, сопровождавшего «фамилию», остановиться в дороге, чтобы дать больной малютке некоторый отдых. Имея тайное приказание замедлять сколь возможно долее выезд правительницы из пределов России, капитан очень охотно согласился исполнить просьбу Анны Леопольдовны, которая, вследствие этой задержки, приехала в Ригу только 9-го января 1742 года.

Между тем, в Петербурге дела принимали оборот неблагоприятный для бывшей правительницы. Остерман и Миних при допросах слагали главную вину на нее, рассчитывая всего более на то, что принцесса, переехав уже русскую границу, находится вне всякой опасности. Кроме того Елизавета нашла нужным потребовать от Анны Леопольдовны отчеты в деньгах и в драгоценных вещах, бывших на руках у ее фрейлины Юлианы. В то же время иностранные посланники, из угодливости перед новою императрицею и желая выказать свою заботливость об ее благополучии, указывали ей на те опасности, какие могут угрожать ее власти со стороны брауншвейгской фамилии, если эта фамилия поселится в Германии и будет пользоваться значительными денежными средствами, назначенными ей от русского двора.

Спустя неделю по приезде Анны Леопольдовны в Ригу, прискакавший туда от императрицы курьер привез приказание задержать бывшую правительницу в Риге до окончания суда над Остерманом и Минихом. Вследствие этого принцессу и ее семейство поместили в городском замке, где они и прожили до 2-го января 1743 года, когда пришло из

Петербурга приказание перевести Анну Леопольдовну, ее мужа и их детей в динамюндскую крепость и содержать там под самым строгим надзором. Отношения императрицы к Анне Леопольдовне делались все суровее, и положение «фамилии» заметно ухудшалось; с бывшею правительницею стали обходиться уже как с простою арестанткою, и в сентябре 1743 года ее и все ее семейство отправили в Раненбург, ныне безуездный город в Рязанской губернии, и там засадили ее, ее мужа и детей в крепость, построенную князем Меньшиковым в то время, когда он владел этим городом.

Придворные козни против бывшей правительницы не унимались: распускали слухи об ее попытках к бегству, а также и о том, будто какой-то монах похитил бывшего малютку-императора и хотел увезти его за границу, и что предприятие его не удалось потому, что он был задержан в Смоленске. Слухи эти тревожили сильно императрицу, как бы нашептывая ей о возможности каких-либо покушений на ее власть со стороны брауншвейгской фамилии. В добавок ко всему этому, русский посланник в Берлине, граф Чернышев, сообщил императрице, что король Фридрих II, заведя с ним разговор об императрице и выражая ей беспредельную свою преданность, заметил, что необходимо для спокойствия ее величества увезти все брауншвейгское семейство в такое удаленное и глухое место в России, чтобы никто не мог знать об его существовании.

Императрица решила последовать этому совету, которым великий король-философ, — этот практически Макиавелли XVIII века — мстил Анне Леопольдовне за неудачу своих у нее заискиваний против враждебной ему Австрии,

не предчувствуя, что оберегаемая им теперь Елизавета доведет его впоследствии до того, что он, в припадке отчаяния, после поражения, нанесенного ему русскими войсками, приставит к своему лбу пистолетное дуло...

XLI.

Наступило в Петербурге тоскливое январское утро с оттепелью и туманом, и при медленном рассвете, почти еще в потемках, рабочие принялись сколачивать эшафот перед зданием сената. На приготовленный ими эшафот поставлены были: простой деревянный стул и плаха—низкий толстый обрубок дерева. Готовилось исполнение смертной казни и толпы любопытных спешили к зданию сената, в ожидании зрелища кровавого, но вместе с тем и потешного для многих. Сенат помещался тогда в так называвшихся «двенадцати коллегиях», где ныне университет, и собравшийся на этом месте народ с нетерпением ожидал вывода преступников из ворот сената, в который они были доставлены еще ночью. В окнах коллегий виднелось множество зрителей, между которыми находились и представители иностранных держав с чиновниками посольств.

На колокольне Петропавловского собора пробило девять часов. Ворота сенатского здания растворились и из них выступило печальное шествие. Оно открывалось сильным отрядом гренадеров перед которыми шли барабанщики, бывшие безостановочно «сбор». За этим отрядом везли

впереди всех, в простых крестьянских санях, графа Андрея Ивановича Остермана. Голова его, поверх растрепанного парика с осыпавшеюся пудрою, была покрыта дорожною шапкою, на нем был его обыкновенный домашний наряд — красный, доходивший до пяток, подбитый лисьим мехом, шлафрок, неизменно служивший ему десятки лет. За санями, в которых ехал Остерман, шли пешком: фельдмаршал граф Миних, вице-канцлер граф Головкин, президента коммерц-коллегии барон Менгден, обергофмаршал Левенвольд и «статский действительный советник» Тимирязева. Всех их, сопровождаемых и спереди, и сзади, и с боков гренадерами с примкнутыми штыками, ввели в обширный круг, составленный из плотно-сомкнутой цепи солдат. Барабанный бой замолк. Четыре солдата подняли Остермана из саней и повели его на эшафот. Там они посадили его на стул. Тогда на эшафот взошел сенатский секретарь и начал читать Остерману смертный приговор. Расслабленный старик обнажил голову и с невозмутимым хладнокровием слушал чтение приговора. Только по временам он взглядывал на небо и тихим движением головы выражал свое изумление при исчислении содеянных им государственных преступлений. Чтение приговора кончилось. Солдаты подступили к Остерману, повалили его навзничь и потом приподняли вверх его голову, которую один из палачей — сдернув с старика парик — схватил за волосы и притянул на плаху. Спокойное выражение на лице Остермана не изменилось нисколько и в эти ужасные минуты; заметно было только дрожание в руках, которые он вытянул вперед через плаху.

— Чего попусту руки суешь, — крикнул заботливо один

из бывших на эшафоте солдата,— не их будут рубить, а голову!

Остерман подобрал руки и сложил их крестообразно на груди. Между тем другой палач принялся медленно вынимать из кожаного мешка топор и, потрогав рукою его лезвие, стал подле плахи и замахнулся топором, готовясь, по команде секретаря, нанести Остерману смертельный удар.

— Бог и всемилостивейшая государыня даруют тебе жизнь! — громко произнес секретарь. При этих словах один из палачей опустил топор вниз, а другой выпустил из рук волосы Остермана. Солдаты и палачи приподняли его. Остерман и теперь оставался так же спокоен, как и прежде.

— Отдайте мне мой парик и мою шапку, сказал он окружавшим его. Ему подали их. Не торопясь несколько он накрыл ими голову и, не выказав ни малейшего волнения, сам застегнул ворот рубашки и шлафрока. Солдаты понесли его с эшафота в сани.

В толпе пронесся гул ропота: ожидания кровожадной черни не исполнились; но солдаты ласково обходились с осужденными: обращаясь к кому-либо из них, они почтительно называли его «батюшкою» и выказывали к ним сострадание вообще, в особенности же к Миниху, который, при переходе из крепости в сенат, шутил с конвойными и говорил им, что и на плахе они увидят его таким же молодцом, каким видывали в сражениях.

Действительно, если Остерман выказал невозмутимое спокойствие, то Миних, не зная еще о том, что его ожидает помилование и, следовательно, готовясь к смерти, как бы рисовался своим бесстрашием. Тогда как все приговоренные к смертной казни обросли, во время их заключе-

ния в крепости, бородами и были в изношенных платьях, один только Миних был выбрит и сохранил обычную щеголеватость в своей одежде. Гордо и презрительно, со всегдашнею своею величавою осанкою, он беспрестанно озирался кругом, как будто все происходящее несколько не касалось его. Твердыми шагами взшел он на эшафот и там с рассеянным видом выслушал сперва смертный приговор, а потом и объявление о помиловании.

На лице Левенвольда, вошедшего на эшафот после Миниха, выражалась сильная скорбь и были видны следы тяжелой болезни, но и он сохранял хладнокровие и твердость. Только Головкин и Менгден оказались малодушными: они заметно дрожали всем телом и, точно стыдясь, закрывали свои лица одеждою до самых глаз.

После того, как все осужденные перебивали на эшафоте, чтобы выслушать там сперва смертный приговор, а потом помилование, Миниха первого вывели из круга и в придворном возке, в сопровождении четырех гренадеров, отправили в Петропавловскую крепость. За ним повезли и его сотоварищей по несчастью, отдельно каждого в деревенских санях.

Всех, которым был объявлен теперь приговор, судили в сенате беспощадно, даже не по подлинному делу, а только по экстракту, препровожденному в сенат из тайной канцелярии и составленному там так, что обвиняемым не представлялось никаких способов даже к малейшему оправданию. Они были приговорены сенатом: Остерман — к колесованию, Миних — к изломанию членов и к отсечению головы; к последнему роду казни присуждены были также: Головкин, Левенвольд и Менгден. Следствие над ними велось с боль-

шим пристрастием не в их пользу, оно продолжалось с небольшим месяц и притом по приготовленным заранее вопросам. Следствие над ними кончилось 13-го января, а 14-го января состоялось повеление императрицы «судить их по государственным правам и указам». В следственной комиссии, заседавшей во дворце, невидимую никем, присутствовала и Елизавета. Она, находясь за устроенною перегородкою, могла следить лично за ходом всего дела, сущность которого состояла в обвинении подсудимых в намерении предоставить императорскую корону принцессе Анне, отстранив навсегда от престола цесаревну.

На другой день после объявления приговора, ранним утром приказано было отправить осужденных в ссылку с тем, чтобы на рассвете следующего дня никто из них не оставался в Петербурге. Исполнение этого распоряжения возложено было на сенатора князя Я. П. Шаховского. При этом женам осужденных объявлено было, что они, если хотят, могут отправиться с мужьями в ссылку, и все они показали в этом случае пример самоотвержения, заявив желание воспользоваться данным им разрешением.

Наступили сумерки и все было готово для отправки Остермана; сани, назначенные для него, стояли у крыльца той казармы, в которой он содержался. Между тем старик лежал и громко стонал, жалуясь на подагру. Солдаты подняли его с постели и бережно отнесли в сани; сюда же села и жена его Марфа Ивановна, причинявшая ему в былое время свою привередливостью много горя, но теперь оказавшаяся безгранично преданною ему подругою. Под прикрытием надежного конвоя повезли Остермана в Березов, где

он и окончить свою превратную жизнь. Вдова его была возвращена из ссылки и умерла в 1781 году.

После Остермана стали отправлять Левенвольда. Когда князь Шаховской вошел в большую и темную казарму, где сидел Левенвольд, к ногам сенатора, обнимая его колена, упал какой-то старик, в дрянной, запачканной одежде, с седою бородою и с такими же всклокоченными волосами, с впалыми щеками и бледным лицом. Он рыдал и говорил так тихо, что нельзя было разобрать его слов. Шаховской принял его за мастерового и велел вести себя к бывшему графу Левенвольду. Оказалось однако, что эта жалкая личность и был еще так недавно блиставший при дворе обер-гофмаршал, граф Левенвольд, которому теперь изменила твердость, выказанная им при публичном объявлении приговора.

«В тот момент, говорит в своих «Записках» Шаховской, живо предстали в мысль мою долголетние его всегдашние и мною виденные поведения в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерийскими орденами, в шегольских платьях и приборах, в отменном почтении перед прочими.» С надрывающимся сердцем исполнил Шаховской свою обязанность и отправил Левенвольда в Соликамск, где он и умер 22-го июля 1758 года, прожив шестнадцать лет в самом тяжелом изгнании.

Дошла очередь и до Миниха, этого, по словам Шаховского, «героя многократно с полномочною от монархов доверенностию многочисленных войск армиею командовавшего, многократно над неприятелем за одержанный победы торжественными лаврами венчанного, печатными в отечестве

нашем похвальными одами Сципионом, паче римского, восхвалявшего.» И в эти роковые минуты Миних выдержал себя. Когда к нему вошел Шаховской, он стоял у стены, противоположной входу, спиною, смотря в окно. При входе князя. Миних обратился к нему и глядел такими смелыми глазами, какими окидывал, бывало, поле битвы. Он бодро пошел на встречу к Шаховскому и остановился перед ним в ожидании что тот будет говорить. Шаховской объявил указ о ссылке, и на лице Миниха выразилось не столько печали, сколько досады. Он набожно поднял руки и, возведя вверх глаза, сказал твердым и громким голосом:

— Благослови, Боже, ее величество и ее государствование! Затем, помолчав немного и обращаясь после того к Шаховскому, сказал: «Теперь, когда мне ни желать, ни ожидать ничего не осталось, я прошу только о том, чтобы для спасения души моей от всякой гибели, был со мною отправлен пастор», — и поклонившись вежливо Шаховскому, спокойно ожидал дальнейшего распоряжения.

Между тем жена его, скаредная немка, бросавшая тень на фельдмаршала своими поборами, хлопотала о домашнем скарге. В дорожном платье и в капоре, с чайником и разной утварью в руках, она, скрывая волнение, готовилась к отъезду. Миних отправился в Пелым, откуда, по распоряжению императрицы Елизаветы, возвращался Бирон с «почетным» паспортом. На пути, при перемене лошадей на одной станции, Миних и Бирон встретились и только молча посмотрели один на другого. Двадцать лет протомился Миних в ссылке: он был возвращен в Петербург императором Петром III и умер в царствование

Екатерины II, в 1767 году, 85 лет от роду, сохранив до глубокой старости изумительную бодрость.

Наступила ночь, и Шаховской, по его выражению, «нагрузя себя новыми мыслями», отправился к своему бывшему милостивцу и покровителю, графу Головкину, для исполнения и над ним состоявшегося приговора. Бывший вице-канцлер был неузнаваем: горе сломило его. Он стонал от хирагры и подагры и сидел неподвижно, владея только левою рукою. Печально и жалостно взглянув на Шаховского, он слабым голосом проговорил: «Тем более несчастнейшим себя я нахожу, что воспитан в изобилии и что благополучие мое, умножаясь с летами, возвело меня на высокие ступени, и я никогда не вкушал прямой тягости бед, коих сносить теперь сил не имею.»

Головкин был отправлен в Собачий-Острог. Он умер в ссылке в ноябре 1755 г. насильственной смертью. Жена его Екатерина Ивановна, урожденная княжна Ромодановская, близкая родственница Анны Леопольдовны, последовала за ним в изгнание, перенося мужественно все несчастья и лишения. После смерти мужа она жила в Москве, и прославленная за свои добродетели, умерла там в 1791 году, дожив до девяноста лет.

Таким образом покончила Елизавета с теми, кого она считала людьми наиболее преданными правительнице, а следовательно и главными своими врагами. В далекой ссылке они были безопасны для нее. Другие незначительные личности испытывали тоже тяжесть опалы. Граматин был понижен чинами, «понеже до сего в катских руках был», т. е. по той причине, что он при Бироне подвергся пытке за преданность Анне Леопольдовне. Аргамаков был отставлен от

службы с тем, чтобы никуда впредь не определять. Акинфьев был переведен в армейские полки с понижением чина. Дальнейшая жизнь самого ревностного приверженца правительницы — Ханыкова, неизвестна.